

ПРЕДИСЛОВИЕ

[к изданию 1818 года]

Событие, на котором основана эта повесть, по мнению доктора Дарвина и некоторых немецких писателей-физиологов, не может считаться абсолютно невозможным. Не следует думать, что я хоть сколько-нибудь верю в подобный вымысел. Однако, взяв его за основу художественного творения, полагаю, что не просто сплела цепочку сверхъестественных ужасов. Происшествие, составляющее суть повествования, выгодно отличается от обычных рассказов о привидениях или колдовских чарах и привлекло меня новизною перипетий, им порожденных. Пусть и невозможное в действительности, оно позволяет воображению автора начертать картину человеческих страстей с большей полнотой и убедительностью, чем могут ему дать любые события реальной жизни.

Итак, я старалась оставаться верной основным законам человеческой природы, но позволила себе внести нечто новое в их сочетания. «Илиада», древнегреческие трагедии, Шекспир в «Буре» и в «Сне в летнюю ночь» и особенно Мильтон в «Потерянном Рае» — все тому следуют, и самому скромному романисту, желающему сочинить нечто занимательное, дозволено воспользоваться сим правом, а вернее, правилом, породившим столько

пленительных картин человеческих чувств в величайших творениях поэтов.

Случай, составляющий основу моей повести, которую я начала отчасти ради забавы, отчасти для упражнения скрытых способностей ума, был впервые упомянут в мимолетной беседе. По мере работы над нею к этим мотивам добавились и другие. Мне отнюдь не безразлично, какое впечатление может произвести на читателя нравственная сторона изображения чувств и характеров, однако тут я всего лишь стремилась избежать расслабляющего действия нынешних романов, показать прелесть семейных привязанностей и величие добродетели. Суждения, естественные для моего героя при его характере и тех обстоятельствах, в которых он оказывается, не всегда являются также и моими; не следует искать на этих страницах порицания какой бы то ни было из философских доктрин.

Особое значение имеет для автора то, что повесть была начата среди величавой природы, где и происходит большая часть ее действия, и в обществе людей, о которых я не устану сожалеть. Лето 1816 года я провела в окрестностях Женевы. Погода стояла холодная и дождливая, по вечерам мы собирались у пылающего камина и развлекались чтением попавшихся под руку немецких историй о привидениях. Они вызывали у нас шутовское желание подражать. Я и двое моих друзей (один из которых мог бы написать повесть более ценную для читателя, чем все, что я смею надеяться когда-либо создать) уговорились, что каждый сочинит рассказ о некоем сверхъестественном событии.

Однако погода внезапно сделалась безоблачной. Оба моих друга, оставив меня, отправились путешествовать в Альпы и среди открывшегося перед ними великолепия забыли и думать о призраках. Предлагаемая читателю повесть оказалась единственной, которая была завершена.

*Марло,
сентябрь 1817 года*

ПРЕДИСЛОВИЕ

[АВТОРА К ИЗДАНИЮ 1831 ГОДА]

Издатели «Образцовых романов», включив «Франкенштейна» в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила историю создания повести. Я согласилась тем более охотно, что это позволит ответить на вопрос, который так часто мне задают: как могла я, в тогдашнем юном возрасте, выбрать и развить столь жуткую тему? Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати, но, поскольку сей рассказ послужит всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничится темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости.

Нет ничего удивительного в том, что дочь родителей, занимавших видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве и марала бумагу еще в детские годы. «Писать истории» сделалось любимым моим развлечением. Но еще большей радостью были грезы наяву, возведение воздушных замков, когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Грезы эти были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим — стремилась делать все как у них, но не то, что подсказывало мне собственное воображение. Написанное

предназначалось, во всяком случае, для одного читателя — подруги моего детства; грезы же принадлежали мне одной; я ни с кем не делилась ими, они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга.

Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и безлюдных северных берегах Тей, вблизи Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и безлюдными, но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. В ту пору я писала, но это были весьма заурядные вещи. Истинные мои произведения, где вольно взлетала фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор. В героини повестей я никогда не избирала самое себя, чья жизнь представлялась мне чересчур обыденной. Я не мыслила, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения, но и не замыкалась в границах своей личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте казались мне куда интереснее собственного бытия.

Впоследствии жизнь заполнилась заботами и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности, да и сама я в ту пору мечтала о ней, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он хотел, чтобы я писала, не столько потому, что считал меня способной создать нечто заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем. Но я ничего не предпринимала.

Переезды и семейные заботы заполняли все мое время, литературные занятия сводились к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом.

Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах; лорд Байрон, в то время сочинявший 3-ю песнь «Чайльд Гарольда», был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красота́м земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались.

Но лето выдалось дождливым и ненастным, непрестанный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский. Там была история о неверном возлюбленном, где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака той, кого когда-то покинул. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь, при неверном свете луны, исполинская фигура, закованная в доспехи, но с поднятым забралом, подобно призраку в «Гамлете», медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен, но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и он приближался к ложу прекрасных юношей, погруженных в сладкий сон. С невыразимой скорбью он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелу́й на челе отроков, которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля. С тех пор я не перечитывала этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера.

«Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть», — сказал лорд Байрон, и его предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме «Мазепа». Шелли лучше удавалось воплощать мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, нежели сочинить фабулу рассказа, и он начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей ранней юности. Бедняга Полидори придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп — в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину; не помню уж, что она хотела увидеть, но, наверное, что-нибудь неподобающее; таким образом, расправившись с героиней хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри, он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить красавицу в семейный склеп Капулетти — единственное подходящее для нее место. Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого.

А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, что подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие — худшую муку сочинителей, — когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» — спрашивали меня каждое утро, и каждое утро, как ни обидно, я должна была отвечать отрицательно.

«Все имеет начало», говоря словами Санчо, но и это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. Индийцы считают, будто мир держится на слоне, но слона они ста-

вят на черепахе. Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а лишь из хаоса; им нужен прежде всего материал, они могут придать форму бесформенному, но не могут рождают самую сущность. Все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе и его яйце. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли.

Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина (я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме) — он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить труп; явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться; быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь.

Пока они беседовали, день подошел к концу; было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но каким-то внутренним взором я необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинувшись некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже зашевелилось. Такое зрелище страшно, ибо

что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего детища. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставит самой себе, что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей; он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будит его; он открывает глаза и видит, как чудовище раздвигает занавеси у изголовья, глядя желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами на своего творца.

Тут я в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого порождения своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее как сейчас: комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила себя думать о другом, мыслями обратясь к своему страшному рассказу — к злополучному рассказу, который так долго не получался! О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я ночью!

И тут меня озарила мысль, быстрая, как вспышка света, и столь же радостная: «Придумала! То, что напугало меня, напугает и других — достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели». Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Однажды ненастной ноябрьской ночью», а затем записала свой ужасный сон наяву.

Сперва я думала уместить его на нескольких страницах, но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести, и все же, если б не его

уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказанное не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им.

И вот я снова посылаю в мир свое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу. Это, впрочем, касается лишь меня; читателям нет дела до моих воспоминаний.

Добавлю только одно слово по поводу внесенных в текст поправок. Главным образом они касаются стиля. Я не изменила ни единой части рассказа, не ввела никаких новых идей и обстоятельств. Я лишь поправила слог там, где он был настолько невыразителен, что лишал повествование интереса; эти изменения касаются — за редкими исключениями — начала первого тома. Во всех случаях они приходятся лишь на такие места, которые являются простыми дополнениями к самой истории, далеки от ее сути и не затрагивают ее содержания.

М. У. Ш.

Лондон, 15 октября 1831 года

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

*В Англию, миссис Сэвилл,
Санкт-Петербург, 11 декабря 17... года*

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе дела.

Я нахожусь теперь далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже заставляет предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламеннее. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти, он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там — ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам — кончается власть мороза и снега и по волнам спокойного

моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, донныне открытые человеком. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только не приходится ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку, а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз и навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня — побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя, перед началом трудного пути, той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита — ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с которой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели — точки, к которой устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о различных путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего